

ВЛАДИМИР СТЕПАН



## ЗОЛОТАЯ ЩЕЛЬ СВЕТА

ТРИ НОВЕЛЛЫ

### Трава, что режет руки

Мне двенадцать с половиной, я сижу на жёстком стуле с железными ножками в узкой больничной палате с одним окном. Белый халат, который приказали накинуть на плечи, — длинный, один рукав порван, а на втором рассыпаны зеленых и рыжих пятнышек. Пахнет тот халат почему-то пудрой и хозяйственным мылом. А в светлой и узкой палате пахнет лекарствами, подгоревшим молоком и мокрыми листьями, как в остывшей бане...

На железной кровати, ближе к открытому окну, лежит учитель рисования. Его голова и худые плечи провалились в две больничные подушки. Учитель смотрит на меня и пытается улыбаться. Получается. Но от этой его вынужденной и мучительной улыбки мурашки бегут по спине.

А за окном кипит август — тёплый, тёмно-зелёный, и там влажный ветер шастает в кустах и деревьях, заставляя двигаться их тени на серой стене. В свои двенадцать с половиной я понимаю, что мой учитель умирает, но о том, когда это произойдёт, я не думаю, потому что боюсь. Конечно, хочу, чтобы это случилось как можно позже. Там, на улице, в кустах и в деревьях, щебечут птички, озвучивая движение теней на светлой стене. Чтобы не смотреть на своего больного, измождённого учителя, рассматриваю то пол, то свои поцарапанные руки, то снова стену, на которой пытаюсь отыс-

---

*СТЕПАН (Степаненко) Владимир Александрович. Родился в 1958 г. в г. п. Костюковка Гомельской области. Окончил Художественное училище и Белорусский театрально-художественный институт. Прозаик, поэт, драматург, киносценарист. Автор книг прозы “Вежа”, “Сам-насам” и др. Живет в Минске.*

кать и без труда нахожу в путанице листьев тени воробьёв — они то появляются, то исчезают.

Учитель неожиданно, с долгим вздохом, спрашивает: “Слушай, ты любишь собирать грибы? Конечно же, любишь”.

Сам спросил, сам и ответил. Я передергиваю плечами под своим белым халатом, потом киваю, потом бросаю взгляд на стену за учителем, сосредотачиваюсь на маленьком чёрном пятнышке на серой краске.

Учитель опять вздыхает и подтягивает колочее суконное одеяло к чисто и гладко выбритому подбородку так, чтобы оно спрятало худую белую шею, такую белую, что она кажется светлее, чем наволочка казённой подушки.

Ещё никто из моих родных не умирал, а потому смерть для меня очень понятное событие и пока не болезненное. Но то, что невидимая смерть рядом, чувствуется, будто она находится не только здесь, в узкой и светлой палате, но и за открытым окном, в тёплом больничном дворе, в трепете теней, озвученных щебетанием воробьёв. Всё это мне сильно не нравится, напрягает, пугает, но и вызывает любопытство. Учитель хотя и говорит, но мне он уже представляется мёртвым. Через испуг слышу его голос и напрягаю слух, понимая, что пропустил начало.

“Знаешь, о чём я в последнее время всё думаю и думаю, и не могу понять?” — говорит больной настойчиво и снимает очки, рука с ними падает на одеяло.

Хочу сказать, что учитель думает-думает о картинах, которые не успел написать, о женщинах, о своих детях, о том, что скоро умрёт. Про поцелуи, про женские ноги и груди, про свою вторую жену... Откуда я знаю, о чём ты думаешь? Я вот думаю о своем велосипеде, который оставил рядом с больничным крыльцом, в тени акации, и о том, что его могут украсть. Велосипед хороший, с новым передним колесом... И ещё я думаю, что завтра меня отправят в деревню, и ещё о том, кому достанутся все его коробки с красками, кисточки, карандаши и бумага, и картон, и книжки...

“Я все последние дни думаю только о грибах... О боровиках... Они очень красивые, они такие... Закрой, пожалуйста, окно — холодом с улицы тянет... Снова будет дождь”, — просит учитель рисования и закрывает глаза.

Охотно и даже радостно подхватываюсь с жёсткого стула, мне уже давно надоело сидеть. Закрываю окно. Занимаю своё место. Набравшись смелости, бросаю взгляд на лицо учителя, чувствуя, что он меня не видит, что наши взгляды не встретятся. Лицо, без таких привычных и нужных очков, выглядит голым. Рот сиреневый, уши большие и почти прозрачные, а лоб и лысина — как мукой припорошены. Волосы тонкие и седые, как дым. Одним словом, он совсем не похож на себя, на привычного, уверенного в себе пятидесятилетнего мужчину. А ещё робкая улыбка кривит его рот, от неё мне становится неловко и мутно. Мне не хватает воздуха, я обливаюсь потом, а через мгновение мне становится жарко.

“Ты их срезаешь острым ножиком, а они скрипят, как живые... Считай, вскрикивают. Они, как скульптуры... Много раз хотел написать, нарисовать, но так и не решился. В общем, даже не знаю, кто смог нарисовать грибы? Многие пробовали, но не помню, чтобы хоть у кого-то получилось... А ещё они пахнут. Так вкусно пахнут, невероятно... Ничто так не пахнет...” — учитель говорит сладким шёпотом. А я смотрю на его неподвижное лицо, лишённое живых красок, очень похожее на скомканную обёрточную бумагу в магазине, и дышу носом. Поворачиваюсь к стене, чтобы опять распутывать взглядом тени кустов и деревьев.

“У меня есть два секретных места. Слышишь? Я их помню до самых малых мелочей. Одно было далеко от дома, а другое, оно совсем рядом, может, полкилометра, не больше, в низком и густом ельнике... Ещё грибов нигде нет, не пошли, а там они уже растут. Ещё ни дети, ни взрослые не находили, а я тайно приносил первые белые грибы...” — Последние слова прозвучали тихо, почти шепотом, но уверенно, и как мне показалось, даже весело. Безумным шёпотом.

— Слушай, а давай я тебе покажу это место. Хочешь?

— Как покажете, когда?”

Учитель тощей левой рукой с тонкими узловатыми пальцами осторожно потёр глаза. Правая, с чёрными очками, поднялась и вернулась на своё место — в углубление, выдавленное в одеяле.

— В пятьдесят четвёртом я вернулся... — Тут он замолчал, а потом добавил:

— Из армии, приехал домой... Посидели с родителями за столом, выпили, легли спать, но я не мог уснуть... Лежал, пытался заснуть и не получалось. Поднялся — ещё темно было, ещё все спали, оделся и ушёл. Воды попил в сенях и папиросы взял. Деревня ещё спала. Я через огород подался, по борозде, по картошке, потом через поле. Иду, на тёмный ельник на краю поля гляжу, а справа от него — дорога. Дошёл до него и остановился, стою, по сторонам оглядываюсь. Я про этот ельник много думал... Убедился, что меня никто не видит, присел, на колени стал, а потом пополз на четвереньках. Ельник тот низкий и такой густой, такой непролазный, как стена, а я ползу, корзину перед собой толкаю, а за одежду колочие ветки да сухие лапки, с травой перепутанные, цепляются. В ельнике темно, мокро, холодно, а я всё ползу. Пролез! Там, в середине, полянка узкая, вот как от меня до стены, шага три-четыре. И трава там густая, высокая. Такая, что потянешь её, попробуешь выдернуть — обязательно руки порежет. Острая трава. И зелёная, и сухая руки режет. Пока лез, слышал, как там всё грибным духом пахнет, нестерпимо, остро. Раздвинул траву — увядшую, высокую, а там боровик... Небольшой, правда, с ореховой шапкой, толстенький, крепкий, из той травы на меня смотрит, а рядом меньший сидит, а дальше ещё два — большие, рыжие, с белыми ножками... Я выпрямился. Постоял, отдышался, а потом сел на траву, папиросы достал, руки дрожат... Курю и на них смотрю, а они на меня. И кажется мне, что они радуются, что я рядом, что пришёл к ним, наконец. Долго, может, с полчаса так и сидел на одном месте, молчал и плакал от радости. Потом достал из-за голенища финку, а не могу первый срезать. Рука не поднимается. А почему мне их жалко, не знаю... Это недалеко отсюда. Всего-то час поездом, а потом пройти придётся... Мне уже лучше. И позавтракал сегодня, и обедать буду. Поедем? — Учитель смотрит вопросительно и виновато улыбается.

Сначала я подумал, что он шутит, а потом — что он сошёл с ума: от лекарств, боли, ужаса и возраста. Говорили, что ему живот разрезали, посмотрели и быстро зашили, так как там всё рак съел.

Через неделю больной художник из седьмой палаты исчез. Его искали, волновались. И врачи искали, и вторая жена, и дети. Никто не знал, куда он пропал, а у меня никто не спрашивал. Через день он вернулся в больницу. А через две недели умер.

Теперь я знаю, что учитель тогда, в 1954-м вернулся из тюрьмы, а не из армии. Что посадили на восемь лет за то, что он рисовал в газете, выходявшей под немцами. Но теперь эти знания потеряли и прежнюю важность свою, и даже смысл.

Чаще думаю о траве, о той самой, что режет руки.

### Золотая щель света

Мальчик спал в дедовой комнате, на большом диване с высокой спинкой. По потолку время от времени, когда по улице проезжала машина, пробегали полосы мягкого света, и тогда сияло, как глаз, выпуклое стекло барометра над диваном. В книжных шкафах за толстым стеклом стояли фотографии в рамках. С карточек смотрел и улыбался мальчик, тот самый, что спал на диване. На письменном столе располагался компьютер, лежали стопки бумаги с мелко набранным, распечатанным текстом и лупа, через которую интересно рассматривать ногти, царапины, нитки и узелки на них...

Мальчику снилась улица и бегающие по ней дети. И ещё снились взрослые дети, курящие за школой, под кривым и толстым деревом. Потом мальчик оказался в школьном коридоре — широком, с высоким потолком, и без-

людном. Зазвенел звонок, и мальчик недовольно перевернулся на бок, а одеяло мягко съехало на пол. Во сне он не смог отличить школьный звонок от телефонного в соседней комнате. Звонок тот звучал совсем недолго... И поэтому он не знал, что его дед час тому назад умер. Все было хорошо — сердечный ритм восстановили, утром из реанимации перевели в палату терапии. Умер он во сне.

Блестящая ручка в двери спальни опустилась, сделалась похожей на запятую в длинном предложении, так как дверь некоторое время не двигалась. Потом в зал вошла женщина, осторожно закрыла дверь. Так, будто боялась разбудить. Но свет в спальне горел ярко, так, что между полом и дверью сияла золотая щель, будто подчёркивая что-то важное.

Женщина держала в левой руке телефон и узкий блокнот, а в правой очки. В большой комнате царил тьма, а из-под двери спальни тянуло холодом. Хозяйка квартиры постояла немного, огляделась и осторожно прошла к кухне. По дороге остановилась и посмотрела на мальчика, но одеяло поправлять не стала, только лишь неслышно прикрыла дверь. Она знала комнату мужа до мелочей. Все фотографии, часы, выпуклый барометр, бумаги, старое кресло с подушечкой и вытертой овечьей шкуркой на спинке.

В кухне пахло арбузом. Его половина лежала на большой белой тарелке посередине стола. За окном — тёмно-синий городской двор, соседние девятиэтажки, много неподвижных машин, лес, небо с белыми, как вата, ночными облаками... Она зажгла над столом свет. Половина арбуза стала ярко-красной. Присела к столу и развернула блокнот. Бумажка с длинным телефонным номером лежала сразу под обложкой.

Часы на буфете показывали четыре пятнадцать. Надела очки, провела языком по зубам, покачала головой из стороны в сторону. Очки ещё больше добавили лицу растерянности. Она поднесла телефон близко, потом отставила и принялась набирать цифры. Сбилась. Отключила. Заметила на столе коричневую плоскую семечку, успевшую за ночь присохнуть, отковырнула ее. Пришлось подняться, бросить в ведро с мусором. Но семечка в ведро не попала, и женщина торопливо наклонилась, подняла. Села к столу и снова начала набирать. Когда набрала семь цифр из двенадцати, дверь в кухню открылась нараспашку. За ней стоял босой восьмилетний Вадим и щурил от яркого света глаза.

— Что такое, детка? Живот? — Мария вздрогнула, осторожно положила телефон на стол и встала.

— Нет, баба, в туалет, — сказал внук.

— Говорила же тебе, не надо есть столько арбуза, а ты, как всегда, не послушал.

— А мне разрешил дед... Мы с ним по телефону говорили, он сказал, что если арбуз сладкий, то его надо есть много. А ты с ним потом говорила, когда из магазина пришла. Что, не помнишь? А можно, я в школу сегодня не пойду?

— В школу, сегодня? Можно... Посмотрим. А почему босиком ходишь?

— Ай, не нашёл тапки. — Мальчик посмотрел на свои ноги, повернулся, чтобы не слушать очередной вопрос, зажёл свет в туалете.

Мария взяла тарелку с арбузом и спрятала в холодильник, там, на второй полке, нашлось место. Вернулась к столу, но пришлось опять подняться, чтобы выключить за внуком свет в туалете, а потом прикрыть дверь в его комнату.

Усевшись у стола и сосредоточившись, снова начала набирать длинный номер. Набрала, прижала трубку к уху и посмотрела на часы. В телефоне щёлкало, стучало, пиликало, потом пошли длинные и однообразные гудки. Мария задыхалась чаще, а потом и вовсе перестала дышать. Гудок шёл за гудком.

— Аллю-аллю-аллю... Слушаю!

Мария даже растерялась, когда услышала голос дочери. Казалось, что она в соседней комнате.

— Светлана, это я... Как вы там?

— Всё нормально, мама. Что, Вадик заболел? Чего ты молчишь, что с ним? — Дочь говорила немного нервно и взволнованно.

— Нет, с Вадиком всё хорошо, спит...

— Он не в школе? Ах, забыла, у вас же там ещё совсем рано. Всё перепуталось в голове. Слушай, я тебе такой подарок везу, такая красота, ты себе не представляешь... Я хотела взять шелковый и красный, а Игорь говорит, что тебе лучше будет вишнёвый... Я сейчас складываю, тут по кровати всё разбросано, так что ты долго не разговаривай, а то много наговоришь...

— А где Игорь?

— По берегу ходит, прощается с морем-океаном. Я рукой ему помахала, но он не видит, не смотрит на отель. Он какой-то странный, говорит, что совсем не хочет отсюда уезжать. Представляешь, совсем не хочет. Вот чудак!

— Светлана, ну, а он тебе уже сказал, вы хоть решили, как дальше жить будете? Или, как и прежде, каждый в своей квартире...

— Опять ты со своими вопросами. Какая разница, где мы будем жить? Он сказал, что все уже решил и сегодня обязательно скажет... Вот пойдём в ресторан обедать и там поговорим... Всё будет хорошо, не переживай, мама.

Мария слушала голос дочери и думала о своём, а ещё пыталась представить, как высокий Игорь неспешно идёт по песку, как грузнут его ноги в песке, как набегает за волной волна. Вода ей виделась голубовато-зелёной и яркой, волны — с кружевами, песок — белым, а небо не могла и придумать, какое оно там, в этом самом Вьетнаме.

— На крабов больше смотреть не могу...

— А какое там небо?

— Небо? Обычное... Я себе шляпу купила, зелёную, с острым верхом, соломенную, а dedu — жёлтую рубашку.

— Рубашку?

— Не то чтобы она совсем жёлтая, а такая золотистая, как лук, и блестящая... Мама, ты наговорила на миллион, а может, и больше. Завтра мы уже будем дома. В шесть наш самолёт. Как у вас погода, холодно? У нас жарко и душно. Дождь только один раз был, но такой ливень, что на весь день и всю ночь. Лило как из ведра. Конец света какой-то.

— У нас, кажется, тепло... Слушай, а что он всё тянет?

— Мама, мы сами разберёмся... Вон он к отелю идёт, с белым цветком... Не волнуйся, всё будет хорошо.

— Светлана, ты скажи ему, что жить будете в нашей квартире. Что ты молчишь? В нашей, говорю.

— А вы?

— В твоей.

— Что вы придумали? А как Вадим будет в школу ходить, его возить придётся через весь город? Мама, ты Сергею напослони, чтобы завтра встретил, я ему пришлю эсэмэску из Москвы, когда будет пересадка. Всё, завтра увидимся, тебе вишнёвый цвет нравится, правда? Я так и скажу Игорю. Целую-обнимаю, до встречи.

В трубке щёлкнуло и пошли однообразные короткие гудки.

Мария с телефоном и блокнотом вернулась в спальню, поправила на убранной постели мужа подушку, спрятала в ящик тонометр. На часах было без четверти пять. Решила, что позвонит сыну в семь, когда он проснётся и начнёт собираться на работу. Достала из шкафа альбом, села на свою кровать и взялась пересматривать фотографии. Она знала, какая нравилась мужу, ей, сыну и дочери, и даже восьмилетнему Вадиду. В спальне ей было жутко, но Мария смотрела на фотографию молодого мужа в полосатом галстуке и улыбалась.

Вадиду снились блестящие каштаны и мужчина-врач в одежде свекольного цвета. Металлический чемодан с лекарствами и то, как доктор посмотрел на барометр над диваном и постучал по стеклу ногтем... Это было позавчера, когда они с дедом вернулись из парка, где хотели насобирать каштанов, но не успели. Дед сказал, что его сердце колотится, и они с полпути вернулись домой.

Под дверь спальни желтела щель света, которая могла бы напоминать тире, если бы не была такой длинной.

## На Трошцу

Глубокой осенью, когда моросит нескончаемый дождь, душным летним вечером, когда пищат комары, студёной зимой, когда сухо хрустит под ногами снег, только что поколотые дрова пахнут весной. Всегда, но, может, это только мне кажется?

Вот не могу вспомнить, на чём мы с отцом доехали до нужной остановки, до начала нашей лесной дороги. Может, и на автобусе, битком набитом тётками, дядьками и детьми, что то плачут, то смеются, то кричат... Хотя, почему дети плачут, и были ли тогда дети? А может, нас подвёз попутный грузовик, ехавший на Довск, Жлобин, Чечерск... Короче, в этом месте, сколько не пробую, не проступают даже мелкие, не говоря о больших деталях-подсказках. Но мы доехали, а потом шли привычные пять километров дорогой через лес и поле, в деревню, к дедовой хате. Через сосняк, потом через березняк. Я, как молодой, нёс плотно запакованный тяжеловатый рюкзак, а отец — корзину с едой. Это точно, тут ошибки быть не может, так как есть фотоснимок. Мутноватый, но и корзину можно рассмотреть, и отца. Я сделал тот снимок, но что-то не так выставил, ошибся с выдержкой, не так покрутил, а потому изображение получилось смазанным, нечётким.

Помню, что там, под большими дубами, где я его сфотографировал, отец нашёл парочку молодых боровичков. Обрадовался, как ребёнок. Сам, в своей корзине бережно понёс их дальше, домой. А ещё помню, что он очень хотел выпить, а потому несколько раз предлагал остановиться, отдохнуть и перекусить. Бутылка водки, привезённая мной из Москвы, лежала в рюкзаке, завернутая в старое полотенце. А я приехал из армии в отпуск, на двенадцать дней. Здесь без ошибки — это было летом восемьдесят четвертого. Тёплого, с дождями. На лесной дороге по низинам кое-где стояли и тускло поблёскивали лужи, а над ними порхали лесные мотыльки и большие комары. Внизу было тихо, а сверху шумели сосны, качая верхушками, а над ними летали и кричали вороны.

Потом он перестал предлагать отдохнуть-перекусить, шёл молча и курил. Иногда сворачивал с лесной дороги, но хорошие грибы больше не попадались, и он злился. Меня же тогда грибы почти не интересовали, тем более в чужом лесу...

Пришли домой. Отомкнули все замки, снимали с окон железные самодельные щиты и составили их во дворе, под крышей... Зашли в дом и начали переодеваться. Дом показался мне маленьким, и я немного растерялся. Отец торопил... Чего-чего, а вот одежды самой разной в дедовой хате хватало, все туда свозили и из Гомеля, и из Костюковки. Я надел знакомые синие штаны на узком ремне, старую отцовскую рубаху, свою кепку, когда-то оставленную в деревне, и дедовы добитые сандалии. Нравились мне эти лёгкие разношенные сандалии.

Пока отец распахивал по полочкам шкафчика провизию, я занялся водой. Вылил из ведра в сених старую, ещё с прошлого его приезда, и накатал из колонки свежей. Хотя и рыжей, но холодной и вкусной. В армии вода была невкусная, вонючая. Потом мы быстро выпили по рюмке водки, перекусили тем, что привезли, а лука и укропа отец принёс с огорода. Не поленился, сходил и отщипнул на гряде у забора.

Он взялся точить пилу, а я обошёл дом, осмотрел двор, сад, попробовал яблоко, ещё кислое и незрелое, позднее заглянул в сарай, полный дров, и в тёмную, как в детстве, кладовку с ящиками, дёжками, мехами, косами и серпами...

Во дворе, на зелёной траве лежали белые берёзовые и серые ольховые бревна с яркими красными торцами. Вот ради них мы и приехали. Начали пилить. Тягали пилу и болтали про армию, про то, как и чем сейчас кормят, и про всякое разное. Деда вспоминали не раз. Текли светлые опилки, сыпались, как сухой искусственный снег. Часа через три на станину легло последнее бревно... Теперь уже на стоптанной и некрасивой зелёной траве лежали только чурбаны. Отец помыл руки, накатал воды в жестяное корыто,

чтобы грелась на солнце, рассказал, как в этом корыте мыли меня малого, а потом и брата.

Выпили ещё по рюмке водки, закусили, и я пошёл во двор колоть дрова. А отец надел пиджак и сказал, что пойдёт в свой лес, там посмотрит грибов. “Пока ты здесь с дровами, я по берегу леса пройдусь... Ты только это, осторожно, по ноге себе не рубани...” — Сказал и пошёл с ножом и корзиной со двора через калитку, огородам, рядом с забором, по борозде, потом по шляшку (это такой огороженный проезд ко двору) и через выгон. До нашего леса совсем недалеко, со двора можно дубы рассмотреть.

А я взял в сених знакомый с детства большой топор. Повертел его в руках, секанул ольховый прутик, посмеялся своим мыслям и начал колоть дрова. Приятное занятие, хотя и тяжёлое. Колол и думал: только бы по ноге не рубануть, а если бы не услышал предупреждения, так и не думал бы. Скоро про те слова забыл и колол неистово, зло, так что вскрикивал, когда бил из-за плеча по тяжёлой чурке на вечной дубовой колоде.

Когда отец вернулся, я сидел на крыльце спиной к стене и курил. Половина двора была завалена дровами. Руки и ноги дрожали, гудели от усталости, спина ныла и болела.

Грибов в своём лесу он немного собрал, оставил корзину на крыльце, а сам вошёл в сени, зякнул о ведро кружкой и долго пил. Из сеней окликнул меня и предложил пойти в лес завтра утром. Я сказал, что тогда и посмотрим, а пока и загадывать не хочу.

Он посмотрел на дрова, потом на облачное летнее небо и беззлобно заметил, как бы себе самому, что было бы хорошо их сегодня и сложить, но не в сарай — там полно, а в сени, чтобы потом, осенью, было ближе брать. А он сам, пока я дрова складывать буду, управится с грибами и сварит суп. Я сидел, курил и дивился на дрова, а потом сказал, что поколотые дрова пахнут весной. Он посмотрел на них, на меня, вздохнул: “Может быть, и весной... Я столько дров перебил-переколол, а как-то вот никогда об этом не думал. Почему?”

Моего ответа он не дождался и пошёл раскладывать костёр в шляшку, под яблоней, где и всегда. Там, рядом со скамейкой, чернело пятно земли с серыми углями от прошлых костров.

Я носил дрова, а он перебирал рядом с колонкой грибы, долго мыл их, а потом высыпал в чугунок и понёс к костру. Позвал меня и попросил принести из сарая железную треногу.

Запахло дымом: остро, приятно, вкусно.

Отец сидел, курил, смотрел на огонь, на суп, шевелил палкой щепки, чтобы не слишком кипели наши грибы. Сходил, выкопал несколько молодых картофелин, оскрёб, помыл и покрошил в мисочку. А я все носил и носил дрова, складывал и складывал под стеной в полутёмных сених... Наконец, закончил, сгрёб железными граблями, собрал из травы щепки, кору и в той корзине, с которой он ходил в лес, принёс к костру.

Не помню, в какой момент я сфотографировал отца рядом с домом. Может, когда он шёл от костра в дом, чтобы взять соли, а может, когда ещё не пошёл по грибы. Тогда тучи разбежались, засияло солнце, и снимки получились необыкновенно хорошо. А потом плёнка в фотоаппарате закончилась. Она закончилась как раз тогда, когда он попросил сфотографировать дедов дом. Причём так, чтобы и крыша железная была видна, и труба, и огород с высокой ботвой, и все яблони рядом с домом, и даже цветы под стеной... Но плёнка закончилась, такой вот я фотограф криворукый...

Пока грибы варились, а запах их был слышен даже в доме, я решил помыться. Взял с полки большую алюминиевую кружку, разделся догола, стал рядом с корытом и облился, быстро намылился, а потом снова начал обливаться. Вода в глубоком корыте нагреться не успела и сначала показалась очень холодной, но это мне даже понравилось. Спихватился, что не взял из дома полотенце. Его принёс отец, перекинул через ручку колонки и пошёл к костру. Я вытерся, оделся во всё чистое, а полотенце повесил сушиться.

Сидели у огня, курили, я — сигареты с фильтром, а он — московский “Беломор”, и говорили, как здесь хорошо и тихо, и что осенью, когда выко-

пают картошку, будет много яблок, из которых придётся давить сок. Я попробовал ложку супа, и он попробовал. Снял чугунок и начал на маленькой сковородке жарить шкварки с луком. Предложил ещё сварить молодой картошки, но мы передумали, решили, что и так будет нам хорошо...

Темнело. Солнце, как за высокой стеной, спряталось за нашим лесом. Суп сварился, и отец понёс чугунок в дом, а я следом — сковороду. Вернулся и залил костёр, убрал в сени треногу. Нёс её осторожно, на щепочке — ведь горячая. В снях пьяно пахло колотыми дровами.

Сели за стол и заметили, что в доме темновато, на дворе поздний вечер. Я попытался зажечь свет. Щёлкнул выключателем, но лампочка не загорелась. На столе ужин, бутылка, а отец начал разбираться с электричеством. И со счётчиком возился, и во двор быстро выходил, чтобы провода посмотреть, какие от столба в дом тянутся. Исправить не удалось, но и к соседям не пошёл, потому что любил есть суп горячим. А суп стоял налитый в тарелки, и ложки лежали. Он снял с полки у порога керосинку, зажжёг, установил стекло, подкрутил фитиль. Теперь лампа заняла место рядом с хлебом, початой бутылкой и рюмками. Свет сделал всё тёплым, привлекательным, а то, что за окном, — синим. Пили, ели, суп был вкусный и густой от грибов и молодой картошки...

Вышли во двор, покурили на крыльце, посмотрели на небо. Потом я прилёг на дедову кровать, рядом с печью, а отец сел к столу на деревянную самодельную скамейку. Сидел и рассуждал о пропавшем электричестве, смотрел в окно на соседние дома, где горели окна, и курил. Он мог курить одну папиросу целый час. Потянет пару раз и сидит, думает, молчит.

Помню, как он сходил на чистую половину дома, но сначала убрал на столе. Потом вернулся, спросил, пойду ли я утром в лес. Я снова сказал, что будет видно. Он задул керосинку, убрал её со стола и решил ещё покурить.

Я смотрел на него, а он сидел за столом. Когда зажигал папиросу, свет спички делал его лицо золотым. Он взмахнул рукой, и в густой темноте засияла красная точка папиросы, и запахло табачным дымом. За окном стояла неподвижная и плотная чёрно-синяя деревенская тьма. Была только одна яркая точка — огонёк папиросы. Ту красную точку и помню, с ней я и заснул.

Когда открыл глаза, снова увидел каплю света. Но она была не золотая, не красная, не жёлтая. Капля та сияла голубым светом. И была она неподвижна. Первое, о чём я подумал сразу, — отец уснул с папиросой во рту. И тогда я негромко сказал: “Ты что, спишь? Эй?”

Отец не отозвался, даже дыхания его не было слышно. Капля синего света мигнула. Я поднялся с кровати и направился к столу. Руки, с растопыренными пальцами держал перед собой. От кровати до стола, может, каких-то пять шагов, может, даже четыре.

Моя рука коснулась синей капли света. Ладонь уперлась в оконное стекло. За окном, в плотной тьме, горела синяя звезда.

Я нащупал в кармане спички, чиркнул — звезда погасла. Зашёл на вторую половину дома. Отец лежал на кровати, на спине, нераздетый, только ботинки стояли на коврике, рядом. Он вздохнул, поднял руку и сбросил со щеки комара. Спичка обожгла мне пальцы и погасла.

Знаю, что если приехать летом на то место, где стояла дедова хата, дожидаться темноты, то я увижу синюю каплю света. Маленькую, как огонёк папиросы. Но маловероятно, что я попаду туда. Да и зачем?

*Перевод с белорусского  
Алёны МАРКОВИЧ*